



Константин Рубахин САМОВЫВОЗ

Москва

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта Вадим Месяц Главный редактор серии Андрей Тавров Оформление серии Валерий Земских

Константин Рубахин

Самовывоз. Книга стихотворений / Серия «Русский Гулливер». — М.: Центр современной литературы, 2009. - 96 с.

ISBN 978-5-91627-018-1

- © К Рубахин, 2009
- © Д. Давыдов, предисловие, 2009
- © Русский Гулливер, 2009
- © Центр современной литературы, 2009

об авторе

Константин Рубахин родился в 1975 г. в небольшом городке Центрального Черноземья, детство провел в Югославии.

Закончил журналистский факультет Воронежского государственного университета и аспирантуру на кафедре социальной философии СПбГУ. Тема диссертации «Медиасоциогенезис».

Публикуется с середины 90-х годов. В 2004 г. в издательстве ОГИ вышел сборник стихов «Книга пассажира». Печатался в журналах «Вавилон», «Воздух», «Новая юность» и др.

Причисляется к «воронежской поэтической школе» и «поколению Вавилона».

Известен как фотохудожник. Первый персональный проект «Сигналы лица» экспонировался в 2002 г. в Санкт-Петербурге. С 2006 по 2008 г. прошло несколько небольших фотовыставок в московских клубах. Сотрудничает с журналами «Русский пионер», «НАШ» (Украина), «Umelec» (Чешская республика), а также с рядом российских и зарубежных новостных агентств.

Живет в Москве.



ИЗ-ПОД СОБЫТИЯ

В истории о «воронежской поэтической школе» звучат имена Елены Фанайловой, Александра Анашевича, Константина Рубахина. Звучат и другие (Альбина Синёва, Роман Карнизов), но эти двое, будто бы, объединены чем-то иным, помимо географии (уже давно, кстати, не соблюдаемой). Это так и не так. Смотреть на подобные конструкции можно со стороны корня, а можно со стороны кроны, и второй подход не хуже первого. А в стадии расхождения — и тем самым нахождения себя — поэт из объекта социокультурного анализа превращается в собственно порождающего стихотворный язык субъекта.

Вот и Рубахин, рассмотренный как тень Анашевича или Фанайловой — и не Рубахин вовсе, функция. Сложно отделаться от контекста, да это и не нужно, стоит просто вглядеться в личностные стратегии (да и просто стратегически не описываемые поведенческие ходы — поведенческие именно в плане текстопорождения, а не каких-либо бытовых жестов).

Для Рубахина личностное трансгрессивно и в метасоциальном (как у Фанайловой), и в когнитивно-эротическом (как у Анашевича) смыслах, однако его мир не есть лезвие, последний рубеж перед бездной: это, скорее, зона тотального перехода из одного субъективного пространства в другое, этакая «пересадочная станция», находящаяся где-то внутри говорящего «я». В сущности, это принципиально и последовательно метафорическая поэзия, однако сказать так — не сказать ничего — по вполне понятным причинам тотальности самого метафорического принципа в поэзии.

Притом — следующий ход мысли — возможен скучный и долгий спор, метафора всё-таки или, неожиданно, метонимия. Вот чрезвычайно важный среди рубахинских текстов цикл — или, скорее, ряд, серия высказываний — «Порядок действий». Поэтический субъект осуществляет ряд движений, поступков, жестов, подчас едва уловимых, видимых лишь изнутри их совершения — и сопола-

гает их с некоей внешней ситуацией. Кажущаяся отдаленность «я»-события и события-«другого», к примеру, неловкой улыбки повествователя — и поведения хозяина собаки, внезапно присевшей на дороге, или его же, повествователя, мелкого предательства — и ситуации, при которой «коллекционер дорожных сахарных пакетиков / сыплет самый невзрачный из них — с синей полоской посередине — / себе в чай, обнаружив пустую сахарницу», — на деле не есть произвольно сравнение, постановка рядом двух несоположимых, но соседствующих в пространстве явлений. Нет, это, конечно же, поиск глубинной, чрезвычайно тонкой аналогии, поиск внутренней формы события, позволяющей искать для себя метафору в жесте другого.

На этом, глубинно-метафорическом принципе, построены многие лучшие стихотворения Рубахина. Другой важный для этих текстов принцип — своеобразное смещение реальности, наблюдение за ней сквозь некое мутное стекло или поток дождя. Экспрессивность переживания, его подлинность и сила оттеняются своего рода самоумалением субъекта, его внутренней борьбой с пафосом чистой трансгрессии. Лирическое «я» в стихах Рубахина отказывается от конечных решений и немедленных, завершающих определенную линию мирового движения жестов,— при полном осознании абсолютной истинности этих самых конечных решений. Он подчеркнуто изыскан, но это изысканность не маньеристского толка, здесь было бы уместно сказать скорее о романтической иронии, если б не бессмысленность ведущихся в последнее время разговоров о «новом романтизме».

Важно и то, что поэзия Рубахина обладает нечастым для современной словесности качеством — она психологична, причем вне всяких вульгарных коннотаций. Рубахин, поэт, безусловно, эгоцентричный, ставящий субъект в основание поэтического познания, никогда не отказывается от самого факта наличия внешнего мира, ему чужд солипсизм, хотя за таковой и можно признать вышеупомянутые размытость и остраненность изображения. Нет, он чуток, но чуткость эта требует и чуткости к себе.

Данила Давыдов





* * *

зачем солдат с себя сгоняет вошь, пока кавказ, пока содом и сера жужжит и оседает на него ж, слетев со спички, или капнув с неба?

моздок уже не тот — кругом дома, и рынок норовит залезть в бумажник; и только солнце, также задарма, вздымает зелень из семян вчерашних.

апрель в чечне. поля, как города, века ужавшие до одного сезона, не оставляют с осени следа, и стекла выметаются из дома.

12

муха мрет на столе, лапы к богу задрав, и его исцарапать или выхватить сверху пытаясь, мельтешит шестерней, как агонии вечной солдат, как привыкший работать всем вверенным телом китаец.

было мне 10 лет. лета теплую пыль город нес на себе, и июль раздевал всех до маек. во дворе положил с черной ручкой ножи наш сосед, которого имя забыл, прибалтиец, кажется, марек.

рядом гусь кипирной тесемкой зажат: петлей крылья, бантик на лапах; он как веник под лавкой тихо лежал, и под кожанной пленкой глаза от детей собравшихся прятал.

было мне 10 лет. во дворе был помост деревянный — агитплощадка. взял за лапы сосед и птицу понес и — кышь — покрикивая на нас — вам такое видеть нельзя бля,

что-то сделал важное, что я сразу забыл, только гусь опустился на землю, скинул бантик, вразвалку к нам побежал, и мы побежали, наверное,

от ожившей птицы, которой зоб болтался и пустовал, а рыжие лапы непонятно кого носили вокруг двора.

потом он сел и под собой стал рыть на площадке песок, а марек швырнул в нас его головой, и я убежал домой.

неделю мы после ходили вокруг ямы среди двора, процарапанной парой оранжевых ног гуся или уже непонятно чего, как страх, украшенье стола.

* * *

как таракан, решив выйти из отеческих нор, шевелит хитином усов, прикидывает шансы забраться под плинтус у дальней стены — так собираюсь я в восемьдесят втором в школу, давя сам себя коричневым ранцем, в котором в пределах разумного решены, по клеточкам осваивая пространство, задачи работы домашней - задатки чувства вины.

новый год по старому стилю. в вагоне-столовой висит мишура и выключен свет. бордовые щупальца «дождика» дотягиваются до котлет на столах. поезд стоит под городом ржава на полпути к курску. в окнах лестницы и фонари. проезжающий этой державой рад любому населенному пункту, как свету из под двери.

MOCKBA 1907-2007

я держу в уме исторический слой на метр вниз, где москва — в сравнении с этой деревня, и навоз на воздухе, не лежит, как сегодня смог, а лежит на брусчатке, где на сухаревской из башни открывается вид на трехэтажный центр. и, чтоб выйти из дома, сначала ты надеваешь галоши на общем лестничном марше. представляя такою москву я чувствую себя лучше, как зная, что будет дальше, когда тут живу

небесный бармен ни на чей заказ в стакан москвы ночной подкладывает льда. экран рекламы — электронный страз, мотив труда. рябит окно, одежда на полу, сквозняк подъезд улиткой обживает, и тело ждет тепло, как жулик похвалу, чтоб не поверить, взгляда избегая, но жизнь закончить прежнюю к утру. так резко обрывается февраль, хоть срок его пенетециарно нуден. под санитарно-белую метель и воду твердую, как канифоль, остановившуюся на паяльном блюде, я спрятаться хотел. не по сезону общеримский календарь солжет еще раз, начиная первый день весны. и город белый с утра ему, как тапки, подавай. как с солнцем труп глазастый, леденелый, из снега вырастет оранжевый трамвай

СТАРЫЙ ЛЕТЧИК 9 мая 2008. москва

солнце топорщится в семь утра, москве объявляя май; с борта не видно того двора, которого тридцать пять лет назад пазуху обживал.

каштаны подкинули белую горсть, сверху не пахнут цветы; машины толкают вялую злость через сиреневый дым.

ест гусениц камни таблеток чугун — стучит по площади танк о том, что никогда одному здесь оставаться нельзя.

потом летят, как копья, стрижи, и самолеты, урча, несут в кабинах каждую жизнь, и непонятно — где чья.

ДЕВЯТОЕ МАЯ. фотография из окна трамвая

конный праздничный мент цокает с рацией в рот, переходя проспект через майский парад. на обнаженной москве, холодом спрятав лист дерева в черном сучке, время, рождается из каждой секунды того, чем кажемся. мы следим за «сейчас», чтобы его побороть выдуман был глаз камеры, пленка и сеть кремния, и серебро. лучше на все смотреть через стекло.

ФОТОГРАФИЯ ПУСТОЙ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, СДЕЛАННАЯ В ЛЮДНЫЙ ДЕНЬ НА ДЛИННОЙ ВЫДЕРЖКЕ

с точки зренья камней нас нет на ней. из живого камню доступна ель, и скелет в стене, или труп в стекле для булыжника есть обещанье нас, как круги на полях, до того, как рожь будет скошена — так с доски мы стираем формулу, не решив, как сойдется над нами земля.

ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО «ПРОЩАНИЕ С РОДИНОЙ»

дама падает в метро. набок и чуть-чуть вперед, головою достает набежавший турникет.

падает и так лежит. не решаясь дальше жить в общем, в частности, в москве.

даме где-то сорок лет, и снаружи причин нет видно, есть внутри нее.

кто-то рядом с ней встает, поднимает вверх лицом. набирает телефон в своей будке контролер.

дама создает затор, доктор ищется в толпе, полонеза ля-минор напевает турникет. май, исходя, перрона плоскость греет, тряся бездомным утренним асфальт, по солнцу бьет, галдя и розовея, как в шапке краденой, под башенкой вокзал.

вот свет простой оглохший и весенний несет семнадцать градусов в зубах — змеиной каплей внутренней, нательной под хлопком он спускается рубах.

метро вагон железом дышит в трубку — от комсомольской считано в груди дворцов три станции, четыре промежутка — на линии зеленой перейти,

динамо — сокол — капля лезет в брюки, подпрыгивает кабель за окном, москвы перебирая поезд юбки, под ее черным лезет подолом.

по реке возили москве паром, зеленела вода под ним, и народу было на нем полно — ежегодный корпоратив.

ночь с субботы на что-то в едва сентябре протянулась с филей до коломн, где у раскопок коренных москвичей перевернулся паром.

за борт прыгали менеджеры, визжал женский стаф, плыл за красным кругом завхоз и в руке над головою держал assus новый смартфон.

с края судна, застывшего над водой, капитан говорил с мчс, перекрикивая электричку метро, громыхавшую через мост.

ВЛАДИВОСТОК-МОСКВА

как пизда, овраг темнеет на снежном склоне. человек курит в тамбуре в голубом исподнем. седьмой день в поезде с него снял штаны и пиджак. он остался один между частями семьи и света, путь на запад разделив ночами на семь фрагментов, освоенных рельсами транссибирской вены, глядя поверх нее, как начальник. он курит, подъезжая к москве, понуро. он потомок геологов северо-восточного поколенья. через час в метро его клетчатые баулы будет потрошить наряд увд на метрополитене

железом дом, себя блюдя от улиц, калитки языком толкнет гостей в подъезда горло, как таблеток глянец, ссыпая в рот, глотаешь без воды.

внутри их спины вылижет консьержка, пока, перебирая сверху вниз в тоннеле шахты этажи, как четки, спускаться шкафом будет на веревке лифт.

фанере этой не особо веря, в нее, как в лодку не свою войдя, сожмутся вместе гости, чтобы двери одна другой нашупали себя.

восьмерки знак на предпоследней кнопке задавлен пальцем, в алюминий влип, как из под ног меняя табуретку на пустоту, вниз лезут этажи.

гостей встречает, выйдя на площадку, как юбки красной двери дерматин подол подняв, и кухни запах сладкий уже не умещается за ним.

ВМЕСТО ДЕТЕКТИВА

в ту ночь, в проступившем едва октябре, домашний вольфрам на стене в пузыре светился от напряженья.

квартира смотрела, как кошка во двор, два глаза держал ее стынущий дом под шерстью листвы осенней.

и станет заметно через пару недель, когда тополя, как лещ объеден, костьми встав, окна не закроют,

что ящики прут горой в потолок, что нет занавесок, в квартире голо, и кто-то накрыт с головою.

смысл времени не ясен, не понятна метра грусть, пока я его обратно прохожу куда-нибудь.

поезд роет снег по пояс, черной щетки зимний лес уступает место полю, свет в вагоне — кто-то есть.

край стакана в поцелуе, и волною черный чай расплескался по столу, и ложки о стекло стучат.

это зимняя дорога — смерти верной по бокам держат горизонт сугробы снега вечного пока.

циклон был зол, родившись в шапке мира, с нее сползал, как снега козырек и падал с накренившегося неба за шиворот, как снайпер подстерег.

всего ноябрь. теперь еще сто двадцать жить дней без черной обжитой земли и перед ветром в пояс наклоняться, как только русские кланяться могли.

от шасси отвалился последний квадратный метр русской столицы, профиль которой вверх

прорастает, давя, как тяжелый грим на лицо актера, забытого под ним сундуком в глубине коридора.

отпускает, как, высохнув, грязь осыпается, делая легче в два раза шаг, когда подо мною, вертясь, вниз проваливается москва.

свет идет равнодушно к тому, что на его пути возникает робко, как рябью обведена на воде зависает лодка, так лечу в самолете поверх тумана, и москва внизу, как выпавшая из кармана мелочь сквозь решетку стока не достать, зато ближе к богу этот вид транспорта, где на выбор предложат налить вина. и, если ты выпил, это может значить аэрофобию или отпуск. мы с творцом, получается, квиты за линолеум, прибитый к полу моего ровесника ту, в котором я, как долгоиграющий леденец у него во рту, перекатываюсь с мотором, выпадая из низких туч в лучшем случае на полосу.

в холле гостиницы, где у бара прилично быть одному — если составишь пару, то известно кому.

известно кто, набиваясь в лаунж и тугие юбки, не отводят взгляда, как если на нож хотят посадить и ищут повода навстречу подняться, из карманов вытащить руки. впрочем, на ночь договориться, все равно, что маленькое самоубийство доверить профессионалу, и, держась в стороне, ожидать, выполнения под покрывалом, скрепя сердце, считая в уме.

от наглости или тупого счастья, которое крошь хлебная дает, ничьей ходьбы не замечали чайки и лезли как булыжник под нее, и растворялись тлей под каждым следом, который набережной ступенел. вода внизу бурлила черным хлебом, санкт-петербурга прячась в рукаве.

когда октябрь, река, как диафрагма, ощупывая набережную, жать начинает, как ребенка мама перестает внутри себя держать.

брусчаткою он плещется дворцовой, в васильевских подвалах известь ест, как позвоночник лихорадки холод, он лижет ломоносовский проспект.

флаг хлещет по щеке борей наотмашь, как хлопает кнутом над головой пастух, вода реки, обнюхивая площадь, крадется кошкой ночью по столу.

пока дворец зеленым светом занят, и действует осенний люминал, своего имени проспектом проползает блестящая голодная нева.

здесь по бетонному берегу его слюня, как белье, на него вешая зелень, где утопленницу в белом три дня подумав и не приняв, дальше потек грибоедов канал, бросив ее как мешок на пристань, где бы не трогали спящего, если б не осень сезон не купания для. она лежит. к ней подойдет один прохожий поздний и, потрогав холодное, вспухшее от перекупанья лицо, которое, если б было кому знакомым, то его не узнал бы никто из любителей, а профессионала хранит это знанье в здании морга. человек чертыхнется, спасая себя от очной ставки, свидетельских показаний, повесток в следственный орган, взметнется к метро по лестнице с краю канала. если и видел кто полный покойников ленинград, то сегодня прилично вести себя так, будто его никогда не существовало.

1

как сахара горы сухим языком, жара чесала базальт. автобус дорогу, как выигранный кон, сгребал под себя.

синайского зуба профи езды туристов тела ночных из шарм-эль-шейха перевозил в иерусалим.

и к богу тянулась пемза холмов, где его пятки висят, пока иорданская ставила ночь в угол медный эйлат.

1

горизонт на скалах горячих лежит, камень жжет кислорода остатки, и автобус, как черный ползет паразит в бедуинской паховой складке.

в нем, как спрятался в детстве, захлопнувшись в шкаф, и не рад, что меня не нашли, еду из шарм-эль-шейха в город эйлат, весь запас кислорода изжив.

море было красным и справа спало, будет мертвым там же с утра, и кусать за спину все что легло на него, как на матрас.

впереди вифлеем, жадный иерусалим, как копилка гремит людьми. из нас кто-то сможет остаться с ним, вернее, уже из них.

город времени свой подставляет бок, им как кость собакой грызом, и по норам кварталов ходит бог по брусчатке цветной голов

3 свет переводит взгляд к вечеру снизу вверх, тень убегает вперед от всех.

нетерпимо к углам время — оно изнутри точит их, как араб иерусалим

жадный стоит к годам, которые под землей, ноет сверху ислам, как короста ее,

сверху ходит турист, гид его с флагом ведет. назад, господи, забери, что здесь твое. царь соломон соломон соломон, воронеж тобой не спасен.

трудные времена мы проживали собой, пока ты, наверное, заболел, царь соломон.

мы держались, как лодки петра на плаву, и, хоть нету пути к морям, через дон только к азерам на халву можно выплыть, мой соломон.

это знает каждый школьник у нас — типа как там впадает дон; кроме M-4 не бывает трасс, царь соломон, в москву.

и как сокол весной мышковал, чернозем протыкал, валясь вниз мешком; отдавались дороге, как ему одному, и оставались в нем.

он приехал, точнее, его привезли его голова текла — факультет журналистики, звали вадим, веди соломон раба.

путешествовал стопом без денег в москву в ночь, переехать мкад собирался, как вражескую змею, на следующий день назад.

его били в роще под бурый коньяк теперь неизвестно кто. опять это, господи, не меня, царь соломон.

воздух дрожал на всем, пыреем травился двор, июль целовал чернозем в тропинки кривой пробор.

воронеж к оврагу шел, сползал, как седло с осла, который стряхнуть в водоем все что на нем угрожал.

ступеньки мраморных плит старого кладбища от, как крышки с кастрюль могил, в которых уже никого,

ятью лежали вниз, всех, кто идет к воде, ног собирали следы и оставляли здесь.

* * *

норы в горе, как дробь в рыжем собачьем боку, и чередой в него влип ласточек черный пух.

ниже летят пацаны, руки сложив, к реке, чтобы из глубины дна ее ил есть.

солнцем кипит трава, птицей день воду пьет, и убегает гора в деревню из под нее. на себя одеялом берег тащит волну, и она, отмеряя, сколько надо ему,

пены бросит шапку к босым ногам, камни плоские облизав.

это море, как поезд, орет и общо, это отпуска время мое и ничье.

день для сна предназначен, вязким жаром прошит, как в пододеяльник забрался и спишь.

пока под ногами щебень стонал, насыпанный сверху на остров, хищным загаром рдела спина под майкою свежей коростой,

мы берегом скальным над бархатом шли, зеленым, как женский пиджак; цикады, как радио, в пихтах цвели, которое не удержал...

а ниже людские, вдруг, голоса, и лодка висит на парче, над нею качается новый тарзан в воздухе, а затем

бросает ногами колючий базальт в небо скалою вверх и вводит под пленку воды себя, иглою в зеленый мех.

никто не визжит, пока пустота под лодкой берет, как туз, то, что упало в нее со скал, как море внутри на вкус.

ХЕРЦЕГ-НОВИ-ДУБРОВНИК

тут турист у моря и смерть лежит. по горам — не ходить — по минам, где история в замках сторожит нацарапанное на стенах: «чико стева — девять и седам» «црный рат» «у дупу ебен» и по-русски: «фашист-хорват» — пишут руки, синеющие в черепах, где войною пах пузырек тройной — то ли средство наскоро от гнойных ран, то ли от более сложных травм — тек по усам.

ДУБРОВНИК-2

солнце уходит за горы, тень падает быстро вперед лицом. зеленая пленка моря подрагивает холодцом. кладка затянутой пристани тиной его обнимает полукольцом, сложенным в средневековье.

теплые дикие камни обсели местные рыбаки. белесые лески падают, теряясь в воде, мир разделяя надвое — на то что внизу и здесь.

ΠΡΑΓΑ

1. бар «confession» февраль, год тридцать третий, понедельник. жжет кокаин, как черствый воротник пальто в затылок упирается, как в кедах на физкультуре бегаешь чужих.

во мне москва, вокруг худая прага, как по паркету движется трамвай, холодных туч сиреневая вата хранит копченый пряник прахов врат.

во мне вино, трава, кокос и кнедлик, со мной еще вино и тихий черт, который здесь туристов однодневных, как небо башни медленно сосет.

2. наводнение в праге двор выгибается под взглядом моим из окна. так придет из суббот, как старость моя, одна.

вверху посылки картон небо тащит в себе — не разберешь что на нем химическим карандашом писано. антициклон, как ее ди эйч эль,

шторой крадет луну — от бреста ползет гольфстрим, европы огни лизнув сиреневым языком, смыв что под ним.

3. как многоточье, сама продолжает себя каменелая прага. в баре confession я жду, что появится пушер, чтобы дилера счастье — два розовых денежных знака — перевести во что-нибудь нужное.

я тут не один — вокруг ожидают его же. все помещенье, как брошенный детский садик, в котором на стенах шершавых трава и березы краскою масляной зеленым и белым крашены,

тихими мальчиками и подругами их заполнено. он пока не идет — все между собой познакомились. на столах только пепельницы и собака пьет пиво из миски — наверное козел поповецкий. так неразборчиво бессмертит себя каменелая прага.

ЕЩЕ ОДНИ РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

мы не одно с тобой, но нас — меньше двух. передать голос дороже, чем его имитацию в букв щербатых столбцах работа для рук, как пенье немое из школьного анекдота. лето, июль, оторвавшийся от, забыл чего, абзац в ушах перемотан тысячный раз. суббота. воздух лежит на лице, как тюль на мертвом. пишу из рима. в кафе, кроме пива и выхода в интернет, есть милый админ и кондиционер его холодок упирается мне между лопаток. пишу, что скучаю, но думаю про менингит, поэтому буду краток. пятнадцать минут взяв, вслепую кириллицей набираю слова, кроме того, здесь еще десяток туристов буквы хлопает по головам местных измученных клав.

тут настоящий восток, несмотря на то, что центр и отец, в смысле, папа европы. (до сих пор не выяснил, есть ли у них в языке пол у вещей, то есть настолько же аффективно проходят первые годы у их детей, как, например — помнишь фрейда — у паровоза

47

ищет ребенок хуй.) но, прости — не о том. тут, короче, восток — обмануть спорт у римлян, и, кажется, дело чести. только ночью я гуляю спокойно этому, кстати, способствует климат. днем же не дай бог тебе появиться в общественном месте. тут орут, несмотря на тесные улицы, сохраняя внутри хладнокровие, как будто живут по два человека на километре в квадрате, как в монголии, и ор — это просто способ донести до соседа что-то, который живет за лесом или болотом. сейчас, повторюсь, суббота. клубный день и уже к полудню даже там, где стены оставляют для ходьбы полтора метра то есть во всех местах город становится людным. так, наверное в своих капиллярах эритроцит мечтая о кислороде, задыхаясь с похмелья, стоит. и я тоже сегодня собираюсь в matiss dinner club напишу тебе завтра, ближе к вечеру. буду рад скорой встрече. целую, твой ка

* * *

чужой глаз, нанятый для перемещения, обязан быть субъективным, пристрастным, частным. его тело — одиноким, голодным, деепричастным осложнением зрения.

(инструкция пишущему в журнал «national geographic»)

за рядами значков славянской квадратной породы проступает история хозяина клавиш, его привлекают широты, которых издалека не представишь, чужой свободы.

дома диктует голос:
ты есть только место
его отношение к остальному пространству,
транслированное вовне,
в силу любви к оседлости,
постоянству,
названию человека
по стране.
так бывает, когда изнутри
просторней,
когда ничей прямоугольник
земли
станет комнатой
твоей
территорией.

так невольно становишься не кем-то но местом, называемом по станции, замечаешь собственный вес, становишься кратен пространству.

его олицетворяя, начинаешь разбираться в погоде,

деловито встречать родственников, являя им туристические радости, говоришь: у меня гости.

любой город снисходителен к аборигену и капризен к путешественнику его долги остаются в виде зависти хозяина к оставленной на хранение сумке, тоски по чужому языку, лишениям и, наконец, москвы, делающейся родной только в момент возвращения, когда «домой» подходит к твоей квартире только один раз, как ключ которым пользуешься, уезжая надолго. хруст которого в замке ждут пыльные полки и сентябрь в календарном витке.

что еще можно сказать, пока едешь на север, глядя на трафарет окна железный, перепевая вместе со всеми спящими рык бесконечной до утра вселенной:

вот она надувается — рядом с полок, «до» горловое в нее кладя, командировочный ей жертвует связок своего ферзя.

спальный вагон, прислушавшись, затихает, поезд почти не движется, ждет урал, пока вселенная выдохнет, уступая радио в восемь утра.

ΥΛΑΗ-ΥΔЭ

медный воск зеленой каплей, в желтом путаясь приходе, теплой грязью темя лапал, кланяющееся как на взводе.

треск от тысячи глюкозок, попадающих на пламя. свет витражный и свинцовый под проценты ночью занят.

вывернутый горный воздух вечером сползает в город. под холмами треуголкой крыши золотым уколом,

кверху вздернувши концы, получают с неба цы.

ЧЕТЫРЕ ЦВЕТКА ДЛЯ ИГОРЯ

июль

я плачу, спустя две недели. прокисшие слезы сбегают, тебя в глазных железах выдержав июльских четырнадцать дней.

август

я плачу спустя еще месяц, и гланды гуляют по горлу. сберечь, как жасмин пересохший, тебя, как другую планету, стараюсь себе объяснить.

сентябрь по дому расставлены вещи, как будто они в самом деле, и, кроме тебя, на работу сентябрь возвращает жильцов.

октябрь слетает, как краска с забора, желтея, под ноги ложится, и с ветки цветка однодневной от тумбочки пятится жизнь.

* * *

покатый нос, обветренные губы пока ты спишь, катаются в вине, сиреневея, как мешок утробы достал замерзший, чтобы спать в коне.

степи монгольской потерявши звезды, на двое суток тень опередив, и сколько пешим дней еще промозглых, оставив вещи, знал бы кто, идти.

ты в одеяло красное уткнулась, канал дискавери лучиною коптит, я на зеленом из икеи стуле, на час отстав, теряюсь позади.

нет голосов вблизи, и ничего на завтрак — азм только еси, и так будет до завтра.

трогая вместо тебя буквы клекочущий строй, пережидаю я выходной.

пьянки ночной под окном нет ничего грустней — будешь болеть виском, пока не участвуешь в ней.

сидит там сосед и его брат из другого двора, и на их лавке стекло сверкает, как тадж-махал.

спущусь, как бы мимо шел: привет — говорят, садись... я на себя не похож, когда остаюсь один.

НОРВЕЖСКАЯ ПЕСНЯ

здесь в углу висят рога дальше комната собака йохан мама говорит за дверью сколько можно сидеть в этой комнате, как на приеме твой сын звонит скажи, что я подойду. возьми собаку

плед сними йохан- сколько можно сидеть так кресло желтое от твоей жопы твой сын звонит

скажи — я сейчас подойду возьми собаку.

что ему надо? я давал ему денег месяц назад. и брат мой говорил, что он занял у него денег я очень за него волнуюсь.

сними плед, отведи собаку. это последний раз не могу я отсюда уйти

йохан.. алло алло микки здесь? какой микки? микки? микки ларсон нет он в группе поет

какой группе? ред девилс

нет а вы как называетесь? вечерние трубачи. извините

это какой дом? седьмой вы знаете микки? не всех. ларсон. он в какой группе поет? ред девилс нет извините он так здорово поет.

это какой дом? любой тогда вы знаете микки. нет группа ред девилс мы группа трубачи. извините.

какой дождь. сегодня не пойдем играть на площадь какой микки? нет не знаем

официант — можно еще кофе и счет? сейчас допьем коньяк и пойдем в савой какой дождь. отменяем гольф уже точно. микки? а где он поет?

нет — девилс не знаем. группа трубачи.. извините. счет и домой закончим все у меня? последний заказ.. завтра новый день

миккии — я искала тебя всю субботу я был в нашем кафе — почему не зашла? там были одни трубачи. эти снобы никогда не скажут ничего не про себя микки.. извините

доктор. доброе утро я хотела спросить про микки ларсона? да он поступил вчера. спит. доктор, вы.. я психиатр. я работаю психиатром 30 лет. я очень устал доктор.. не сейчас.. извините.

все пациенты недовольны своей жизнью и хотят развлекаться это очень утомляет и микки? я вам точно говорю.. извините

моя жизнь тоже не полна веселья это норвегия, детка, север микки? он в пятой палате. деньги?

бывает со всеми здесь... доктор?.. извините..

люди в большинстве не способны на щедрость злобны и глупы я давно на работе. я занимаюсь терапией, чтобы злобного человека сделать не знаю чем вот поэтому я и перестал этим заниматься извините

микки?
знаю такого — он в пятой палате
спросите у старшей сестры
отстаньте
от меня — сейчас уже суббота
извините

малышка — зачем тебе этот север? норвегия — темный рукав европы как можно жить, пока в тебя верят не выкрутишься, будь трижды эзопом.

твой микки пьет внутревенно прозак уже зима — с утра потчует ночь нас сиреневым в стеклах висящим морозом трамваем, грызущим мерзлую почву

это норвегия, детка, смертная скука ты можешь смотреть на нее только из дома пока интернета под ногтем твоим скорлупка ломается и замерзает через минуту

дырка для почты лестница для исходящих

наружу дверь полная мокрого пара декабрь в моксве ночь, как холодный ящик сверху спускается крышкою предстоящей

миа — что ты несешь? моя мама — садистка ты думаешь — я этим занимаюсь? да ну как сказать? именно молча. миа, я же твоя мама извините

я о твоем здоровье беспокоюсь.. о здоровье? ты думаешь мне так легче? и так трудно жить — ты думаешь я спокойна? это безалкогольное пиво, дочка. извините, мама, извините..

микки — вы помните моего микки это не правда и он не жрет прозак это голос его глубокий внутренний голос последний заказ на сегодня домой меня отведите

я слышала — есть земля без нужды болезни и боли — то, о чем я мечтаю только в ванной пока проезжает мимо стокгольм нас пока не найдет меня с микки мама

НОЧНОЕ

удивляясь пути длине, попадаешь домой, домой, где из шкафа упав скелет, говорит — я уже не твой.

ты теперь без меня силен, как без лодки плывет моряк, на виниле посеребрен и заржавлен на якорях.

ты теперь остаешься один — твердый кальций упрятан в шкаф, ты теперь такой господин, как пустой на тебе пиджак.

РЫБАЛКА

истовый запах яблок, вина и озона. пар выдает прошедшее ночь живое. вдох внутри зябок легких на запах тканей, полных пока среднерусское узкое лето тобою. вдох внутри тесен не вытащит в голосе слова, чтобы в четыре утра будить на зорьку, где атавизм племенной, хронический мужеский повод с кепкой спуститься под пар в сосновую койку.

квартира смотрится в закат каким-то видом меди, которую легко спаять, вокруг лежат предметы.

жара, набившись по дворам, расклеивает окна — их сетка звук от комара впускает внутрь комнат.

в одной лежишь, закрыв глаза в шипящий телевизор, а медь к постели подползла и ноги твои лижет. человек безжалостен к тем, кого трудно в лицо разглядеть, например, к комару. так тебе в телефон — не могу — говорю. так легко дергать рыбу, пожертвовав рыбой-живцом, не смотря, как его разгрызает дичь, не пытаясь ни ту, ни другого от смерти сберечь, собираясь пожить за нее, за него собираясь пожить.

ДАНИЛЕ ДАВЫДОВУ

тепло тебе под тополиной кучей, под липким пухом выпавших семян? площадка детская, огонь шипит ползучий к забытой ладе, обойдя тебя. ты спишь, и сон твой так же прочен, как свитер твой не может быть измят. лежишь, а над тобой полощет реклама на огромных простынях. их красный sale клеенчатых полотен эпоху новую развесил в бутиках, ее, как косточку вишневую, проглотим ошибочным движеньем языка, двор проходя насквозь до подворотен на заседание литературного кружка.

* * *

мимо денег вас протекает река, удовольствие мимо чресел. только белого вам не хватало стиха и полемики в интернете.

встань во все, что ты можешь с дивана поэт, на одноклассниках ру найди бизнесмена таких же лет и иди работать к нему.

только научился говорить, тебя уже никто не слушает, только выздоровел — про тебя уже все забыли, только понимаешь смысл игры, а уже проиграл, только получил первую пятерку — все равно тройка в четверти,

только бросил курить, а уже можно, только захотел на журфак — а уже учишься на физмате, только расплатился за ноутбук по кредиту, а его уже пора менять,

только научился манипулировать женщинами, а уже и не надо,

только решил взяться за голову, а она уже плохо работает,

только стал молодым специалистом, сразу перестал быть и тем, и другим...



68

сигнал уходит, наступает лес кто здесь остался и зачем он здесь? как подчиняется своей природе, когда уже не ловит мтс?

чем глубже, тем древней язык и люди и чище снег на омертвелой ткани болот, лесов, холмов, степей и рек, которых, шубою закутавшись, достанет знакомый нам по сити человек.

мужик выходит. вокруг него овца, и белый пар под пыжиком не выдает лица, а только слышно нам гуд верного словца.

из черных дыр пристроек достает саней плетеный короб, рыжего, обросшего как пальма у конца земли, которая стоит в сенцах из кадки выросшая,

коня, и вяжет с кожаной прокладкою хомут и лезет, утеплясь, и за воротами его стреляет кнут. как силу лошадиную зовут конечно знает весь

колхоз. и слышал, что встречать из города какого-то юнца, но уже выжившего из неокрепшего, забитого наукою ума — какого лешего сюда, когда зима.

69

до города верст десять по реке, а по дороге будет все пятнадцать, и решено к вокзалу добираться по льду — пока один и налегке.

обычно город малого размера достает единственною улицей до церкви, вокруг которой даже время терпит, боясь изжить загадочный народ.

потеют стекла грязью янтаря, на них вода, насытившись железом, стекала вниз по вековым карнизам и встала в первых числах декабря.

такое место сообразно ярлыку райцентра по своей мифологеме — как тайный путь от канцелярской фени — к нетраченному языку.

о языке: здесь жил продвинутый до азии казак, кто, по степям неся украинскую речь, не смог ее невинности сберечь, ей сделав суржик триста лет назад.

вокзал, как бы стесняясь простоты райцентра, на который служит, до выхода с перрона не покажет куда попал ты.

вокзал до города не достает, и улица — которая от церкви — сюда приходит и по кругу вертит автобус желтый в бежевый налет.

из поезда был вышедший один в одну минуту этой остановки явились шуба белая, и в мех ей шапка, и желтый с человека чемодан.

узнав встречающего по саням, сам тащит кладь и на сиденье влазит, задвинув телефон, оставшийся без связи, внимательно глядит по сторонам.

мужик в овце пять реплик для проформы сказал и, покивав ответам, вернулся к управлению — на этом продолжилась дорога к дому

без слов. отъехали от трассы. вокруг пустыня, тополиные посадки хрущевские очерчивают грядки — сейчас сказали б — симулякры леса.

пятнадцать километров и одна задача — надо не замерзнуть, пока кобыла по сугробам лезет в последний час от светового дня.

снег ослепил, ускорив упавший свет, который боксером наощупь соперника шарил. человек с чемоданом боксером себя не пиарил, но в глаз получил за брошенный взгляд из под век.

чем ты сильней, тем дольше в состоянии молчать — убеждено мужское населенье — чем дальше в степь — тем тягостней молчанье, и только дым разносится из-за руки с кнутом плеча.

агорафобия мешает горизонт сплошною ровной линией замкнуть — зимою степь тупик, а никакой не путь, зима разумной жизни не сезон.

скрипела сбруя, кости и в снегу стонала физика, полозья подпирая, хлестали вожжи, тяга гужевая с обидой озиралась на бегу.

вчера была москва и турникет по боку мазал светлым пятаком и люди были, с которыми знаком, но больше — нет.

вчера была работа, интернет, светился кремль зороастрийским замком, и новый год двухтысячный по знакам был должен отличаться от всех лет;

сейчас поможет нам ну только вертолет, но вызвать — связи нет район тут дикий во фризе сгину новой эвридикой, орфея для которой нет. он так всегда ждал смерти вот сейчас, как в самолете, чуя турбулентность, плюя на всё, осматривая местность, уже прощаться с жизнию начав.

он спал в пути и видел, что деревня и дом пустой, забор, забытый двор и только слышно за калиткой разговор, что умерла настасья алексевна... во сне ему казалось, что с тех пор,

как видел мать отца, прошло не больше года, что он не выдержал бы дольше города без летнего здесь месяца; и просыпался, с бьющейся аортой —

дом десять лет стоит пустой пустой, на лето служит очень загородной дачей, а месседж сна остался непрозрачен, не совместившись с актуальной частотой.

приехали — он вышел на зевке и провалился больше чем по пояс, барахтаясь он на дорогу вылез, снег доставая, тающий в носке.

дом пустовал, согретый для него соседом, старым, не берущим денег за поддержанье хат для однодневок принципиально — пока живой.

внутри не изменилось ничего: трюмо, шкаф с книгами, на ножках радиола, сервант, в котором запах корвалола, пипетки, рюмки — за стеклом стекло;

на стенах фотографии и масло пейзажи, облупляясь, бережет, где озера сереющий кружок, сосна, плотина, сзади сохранилась надпись:

поручику в день увольненья — забудь военную профессию, достанься своей земле, не понимая счастья остаться памятником где-нибудь.

от кислорода сильно легче голова — наш человек, внедряясь в обстановку, бросает шубу, чемодан и шапку на лавку у досчатого стола, а сам садится на другую лавку,

достав конверт, согнутый из рекламы: «дизайн, полиграфия: все и сразу», находит в внутреннем кармане папиросы, берет одну и набивает планом руками еще красными с мороза.

с дороги слишком много тишины ждет появившегося в этом доме, и, чтобы заглушить в ушах ток крови, наш человек находит у стены из проводов ведущий к радиоле.

под крышкой полированной была большая черная «мелодия» пластинка, а сверху— небольшая синенькая, которых много в ящике стола,

сейчас поди найди такой контент — семь дюймов звукового коллажа: читает лев толстой, насекомые жужжат, с эльбруса говорит корреспондент

и музыка: радмила караклаич, роксана бабаян, луминица добреску, pink floyd, king crimson, yello, arabeski — все просмотреть — занятье на ночь.

проснуться засветло, как не был вечер буен, в снежный сезон и без работы — фокус — любой из нас, такой же как и фикус — им правит люмен

и цельсий — царь воды, чьи показанья определят твои с природой отношенья — насколько теплый ты, и какова температура окруженья.

зимою голову не поднимаешь вверх, на холоде к плечам подтягиваешь уши,

74

перед собой отрезок видя суши шагах в трех.

кто автор русского выражения лица с его латентным ко всему презреньем, фиксированным коллективным устремлением не позволять высказываться

и принимать в свой адрес любую шутку и смешок со стороны, привыкнув к окружению страны, которой частная неадекватна радость?

что только социального в обоснованье не предполагалось — спроси ответа у зимы, когда аэродинамически согнув гордость, под ветер выгибаешь горб спины и прячешь в шарф что только что сказалось.

для русских идея энтропии, как отобрать и ровно разделить, развилась из желания согреть за счет экватора хотя бы часть россии, которой в тропиках колоний не досталось —

поэтому метафора тепла живет в любовной лирике и в близких ей контекстах — так, например, за чужой счет обогатиться по-русски скажется — нагреться, жизнь теплится, и греет похвала.

в мороз, как при любой стихии, есть повод называть друг друга «ты», подталкивать с улыбкой, и прочие осваивать черты соборности, которая в россии

включается, как некий форс-мажор, как будто вместе выпили по стопке,

межличностные перегородки сжирая, как в деревянной комнате пожар.

за это людям близок мчс с его отрядами, готовыми на все, ты в кризисе, а тут — мужик такой большой в оранжевом комбинезоне весь

тебя уносит, и ты рад вниманью, и каждый, кто посмотрит на такое, конечно, пожелает быть тобою — и это тайное, опасное желанье, чтобы спасатель, как бэтман над страною

летал, и мог в любые двери, войти, не тратясь на звонок, чтоб как спаситель каждому помог, кто позвонит ему, в него поверив.

в холодном смоге просыпается село. замерзшее крыльцо, паленый уголь. мороз уже привычка, а не убыль — упругий снег, узорное стекло.

по белому цепочки поселений счастливец пролетающий увидит, подумав, вероятно, что медведи из того леса здесь проходят. и олени.

приятно, когда нет озеленений, и ничего твой взгляд здесь не отводит. заметней на снегу следы и люди, чьих ног цепочкой стынут повторенья.

наш человек замерз и заболел — проснулся с горлом и досадным чувством, что если каждым обретенным плюсом считать полученный организмом цельсий,

то за ночь он довольно преуспел, так что к утру уже не стало сил передвигать нагретым организмом, он только на постели сел

и, взглядом не нашаривая смысла здесь быть, собою наполнять округу, не в силах встать и сделать звонок другу, хотя б соседу из памяти вытаскивая числа.

однако жар и ломота в суставах мешали жить даже в тепле перин, и желтый чемодан нес аспирин в отсутствие души, которая б его достала.

он так лежал и видел всякий бред, который, сообразно положенью, нагрянув, запустил сознанье в свободный от реальности полет:

он яблоки держал в своих ладонях, а на шкафу пластмассовый олень с ним говорил, когда со всех сторон выпархивали голуби с обоев.

в деревне в двери почему-то не стучат, а просто, будучи уже внутри, кричат вглубь дома, стоя у двери — так днем, и в окна барабанят по ночам.

он так лежал, когда пришел сосед с пюре-картошкой и кастрюлей щей и, видя положение вещей, поплелся к телефону на предмет

позвать единственного местного врача, точнее фельдшера, точнее фельдшерицу, которой дом стал превращен в больницу, дав крышу докторским ее вещам.

она пришла и топала крыльцом, на его досках оставляя снег; сосед ей вылезти из пальто помог, мех ворота попридержав лицом.

врачу известна каждая изба, хотя здесь это называют домом — проходит он по комнатам знакомым, обычно мимо замолчавших баб.

тут дом пустой — казалось, вынеся одну последнюю хранящую семейство, обжитое освобождаешь место так просто от кого, а не кому...

позднее бревна от пустого дома отбившись, возвращаясь к лесу, ползут с горы к реке за огород, оставив улице возможный поворот и детям сада яблочного брошенный обвесок.

места такие, потеряв семью, растут, как знак того, что нету человека, на метры к свету приподняв за лето бурьян, репей, крапиву, коноплю и от любого охраняя это, как командерия бордо марго гран крю, гнездо вампиров, спрятанных от света, как пирамида мумию свою.

врач с сумкой пожилого дерматина к кровати металлической подходит. перину вековую на ней гладит и вспоминает в детстве как перина,

вздымающая простыни постели, ее ложащуюся принимала, а бабушка ее в кровать вжимала, чтоб черти внучку ночью не носили.

перед врачом любой, как ни бодрись, становится униженным и слабым. он вспоминает как выглядят микробы, как бесконтрольна внутренняя жизнь.

врачу известна любой болезни тайна, написанная незнакомо на латыни, или славянскими запутано-кривыми буквами — остатками арабского дизайна. и все наоборот с больными:

им как бы неудобно, что собой съедают время доктора и скорой, карета под окном и под соседским взором их как бы беспокоит.

они, поднявшись на подушках, шутят — на самом деле им легко с врачом, который теловеденью учен и знает, что внутри, и помогать им будет.

наш человек приветствовал спасенье — семейного для целого села врача, которая уже взяла его под локоть и давленье мерила,

смотрела, ложкой помогая, горло, хоть видно было все на первый взгляд, потом из ампулы тянула шприцем, взяв сухой рукой его именословно.

закончив, доктор и сосед на кухне за столом расположились, тек черный чай, тянулась новость под кислый барбарис конфет, на вкус не дашь которым десять лет — их полный шкаф от бабушки оставил открывшийся под старость диабет.

сухие иглы чабреца ссыпались в белый фарфоровый чайник, и запах сена, не то печенья, вертелся паром вокруг лица.

тимьян полгода лежал в тряпичном из майки сшитом цветном мешке, и жизнь у травы, оказавшись длинной, крутилась с сахаром в кипятке.

он рос у дома — чуть выше в гору, с библейским именем асиянь, а сверху пятна на ней — коровы жевали до снега зеленя.

зимой не ходит никто сиянью — лежит вверх белой своей спиной, и только с краю горы, санями двустрочье вырезанное виляет, как след от боинга выхлопной.

дым из трубы, под которой живы и в печь подкладывают дрова, перпендикулярен перспективе и параллелен другим дымам.

и так не все здесь дымоточат трубы, да и дома здесь не все стоят — провалы крыш нарушают ряд улыбкой местных, переживших зубы.

так разговор, доносясь из кухни до человека в своей постели, менял свои, проплывая, формы вдоль фотографий семьи настенных —

они стояли втроем над картой, собой полярный венчая круг: в средине прадед, что не застал он, по краю дочь и ее супруг —

у них едва шевелились губы, слова из кухни в себя приняв, и липла мокрая простыня, на карте розовая страна вокруг европы воздела руки,

синела жилами по животу длинных сибирских рек, а под ногами ее тонул японский морской конек. вокруг известка, рукав в побелке выглядывал пуговицей пиджака из шкафа, который желтой газетой от мела себя спасал.

сквозь окна не видно с штакетником садик за наледью на стекле, а между рамами в граненых стаканах упавшие мухи в сухой кислоте,

так надо, чтоб пар не затягивал стекла, а мухи тут для того, чтоб лежа в стакане напомнить о теплых моментах этих широт.

он знает за стеклами каждую ветку, черемухи, вязкую сушь, синильную косточку — как если таблетку нечаянно разгрызешь.

82

дерево летом губами за ветки козы тянули, встав, как человек опершись на штакетник, зеленый срезали стаф,

а что оставалось, когда уйдут козы, коричневой длинной лозой, в иные моменты годилось под розги — красной учить бороздой.

дети в семье содержались в порядке— анастасия была

83

учителем в маленькой восьмилетке посередине села.

вот ей семнадцать и черные косы, на курсах учителей — двадцать девятого года выпуск на фото лежит в столе.

потом был тридцатый, макаренко вызов улицы принимал — вот класс ее первый, школьники лысые на сепии фотобумаг.

в то время был голод и не ценился круг несъедобных вещей — не евший пять дней не способен учиться, как, впрочем, и жить вообще.

был случай: в райцентре по приглашенью вечером доктора зашли выпить чаю с еловым вареньем, с собой была голова,

которую, уже не известно зачем после работы взял анастасии брат (был врачем во время войны пропал)...

в мешке оставляли под крыльцом и чай пили полчаса, вечерний осенний одноэтажный район окон закрывал глаза.

потом, уходя из теплого дома и под крыльцо заглянув, не обнаружили мертвую голову — кто-то ее стянул.

и утащив подальше от зрителей брезент тяжёлый тугой, его развернув, неизвестный грабитель, смог совладать с собой.

а позже зимою ходили коллеги на заседания в суд — грабителя сдали от страха соседи, с ним евшие этот суп.

после войны у настасьи родился четвертый, последний сын уехал в москву, там и остался, и, собственно, стал отцом

вот этому человеку из сити, который лежит больной и вместо семейных портретов видит собственное кино.

фельдшер ушла, сосед наполнил печь и, посмотрев на дурака из сити, оставил воду и таблетки у кровати, настольный свет, и наступающую ночь.

он просыпался, вспомнить где стараясь, а вспомнив, тут же закрывал глаза, под одеяло с головою залезал, забыв москву, себя, психоанализ,

лежал, боясь, чтоб только не явились привычные для места голоса,

шаги, беседу, запахи из кухни, там, обжигаясь, чтоб не дать еде остынуть обедают, где днем места пустые знакомые соседские старухи, домов которых крыши провалились.

его трясет, от каждого движенья внутри взрывается идеальный холод, часы стучат невидимые с полок, по дому прежнее распространяя время,

из-за дверей в соседней комнате трюмо его в себя поймало отраженьем, покрасив голубеющим неоном от света уличного фонаря, в зеркальном повороте коридорном умножив это все на полтора, и кто-то появляется в дверях далеким ощущением знакомым,

и вот уже у головы стоит, а он лежит похолодевшим комом собой не управляя и не владея словом, которым его голос говорит.

есть способ сбросить лишнюю мороку — перевернуться, кашлянуть, водой запить какую-нибудь таблетку, хотя бы руку протянуть перед собой,

но упакованный прозрачной рыбной пленкой, как на прилавке, человек лежит

снаружи — спит, как майский жук скребется, коробку раздирая — изнутри.

с утра сосед, его придя проведать, найдет спокойствие и мир в фигуре спящей, как школьник, просыпаясь, ищет в шуршащей ночью спичечной фанерной

коробке майского жука, и по усам определяет — жив и смотрит, еле-еле приоткрыв, в блестящие жучиные глаза.

сосед садится, решая подождать, когда проснется городской больной на стул у изголовья и спиной опершись на железную кровать на карте восхищается страной, пытаясь свое место отыскать.

но, посидев так глядя полчаса, решил, что много поважнее дел, пошел, бубня, за сенцами надел ботинки, возле самого крыльца остывшие, и вышел в снег за дверь...

86



ухожу, как быстро, не оглядываясь, уходит юноша, сделавший фотографию, в примерочной женского магазина «орхидея», опасающийся охранника или ревнивого человека.

пытаюсь запомнить фразу, как молодой отец с семилетним сыном несет сканер от савеловского рынка к метро, переживая, что не осталось денег на такси, боясь задеть или уронить.

неловко улыбаюсь, как если бы хозяин огромного чау-чау, внезапно остановившегося на проезжей части по большой нужде, не смотрел бы на собаку и на остановленное ею движение.

теплым осенним днем проходя мимо атриума на курском вокзале.

вынужденно соглашаюсь, как вздрагивает от резкого звука на стройке мужчина в сером костюме, озираясь потом—не заметил ли кто его малодушия.

пью вечером на работе, как переодевается нищий в зале ожидания ленинградского вокзала,

стягивая серую майку, выгнав запахом ожидающих поезда и даже двух милиционеров.

ругаюсь по переписке, как если бы двое договорились

бить друг друга по очереди, совместив таким образом бокс и шахматы.

рассматриваю противозачаточные таблетки, вспоминая, как мы в детстве в микрорайоне «лебединец» играли в «казаки-разбойники», гоняясь друг за другом по замысловатым стрелочкам.

отвлекаюсь, как если бы искал что сдать в ломбард, и наткнулся на старые бигуди из синей пластмассы.

обманываю ожидания, как дама, которая плачет у большого театра не по личным обстоятельствам, а просто после работы.

привыкаю,

как шестидесятилетний поэт, всегда одетый в бежевый с горлом свитер,

носит его не потому что свитер этот любимый, а потому что единственный.

сгораю от любопытства,

как студентка первого курса журфака мгу с брекетами на зубах скашивает взгляд, когда стоящий перед ней в очереди у кассы супермаркета «рамстор»

мужчина лет пятидесяти открывает бумажник.

мелко предаю,

как коллекционер дорожных сахарных пакетиков сыплет самый невзрачный из них — с синей полоской

посередине —

себе в чай, обнаружив пустую сахарницу.

веду себя эгоистично, как если бы знаменитый гонщик михаель шумахер,

89

вместо того, чтобы поливать с пьедестала зрителей шампанским из большой бутылки, пил бы его из горла, выплевывая после каждого глотка остатки пены.

удивляюсь,

как если бы принял за газовую трубу, торчащую из дома, девушку, завязывающую шнурки на желтых полусапожках, а она бы вдруг спросила который час.

опохмеляюсь, как кто-то выходит из поликлиники после лечения гнойного гайморита и останавливается под цветущим каштаном.

встречаю у выхода из метро,

как игрок в спортлото воскресным утром начала восьмидесятых,

не отрываясь от телевизора, ждет, когда из барабана по металлическому желобку спустится шар с желательным номером.

увольняюсь с работы, как если бы студентка педагогического института в очереди к стоматологу от сильного напряжения провалилась бы в глубокий обморок.

засыпаю в метро, как младший сын моего соседа по дому устраивается в кроне 70-летней груши, крича сверху, что это самое удобное в мире место для отдыха.

страдаю от любви, как пекинес, обогнавший хозяина, чтобы обратить на себя внимание, попадает под его ботинок «clarks» цвета мокрого асфальта.

перехожу от теории к практике, как поэтесса елена фанайлова выезжает в чечню

90

по заданию радио «свобода», замещая арестованного в аэропорте андрея бабицкого.

просыпаюсь под сигналы точного времени, как забежавшая на минуту к знакомому сотрудница

русского музея

возвращается от него утром на работу, вспоминая, что она хотела вчера сделать дома.

ловлю такси,

как школьники на так называемых сельхозработах пекут картошку в лесу, выкатывая первую попавшуюся руками в старых короткопалых перчатках.

нехотя ем хотдог, как уставший тридцатилетний фрилансер понимает, что его ставка не соответствует занятости.

выбираю свободу, как если бы к вам на улице подошел творческого вида человек и очень вежливо попросил десять рублей.

живу размеренно, как если бы алкоголик нашел свое идеальное сочетание градуса и деньги для этого.

не хочу торговаться, как девушка, выбирая не очень подходящие,

но красивые очки,

решает, что важнее быть заметной, чем видеть самой.

веду знакомую в кафе, как плывущий от берега человек вдруг понимает, что еще дольше придется плыть обратно. чувствую себя на месте, как молодой человек с загипсованной ногой смело смотрит в глаза только что вошедшей и требовательно озирающейся старушке,

сидя перед ней в вагоне метро.

думаю об однозадачной операционной системе dos, когда вижу, как ты останавливаешься посередине улицы, чтобы рассказать мне одну историю.

не узнаю, как в дорогом кино с полным звездным составом приходиться делать вид, что актеры — это просто некоторые люди, и мир существует без них, в целом не изменившись.

92 подчеркиваю свою индивидуальность как объявляют имя потерявшегося пассажира на вокзале, и полная дама начинает двигаться по направлению к справочному бюро.

не вижу общего из-за деталей, как если аккуратно одетый человек упал бы в болото и стал протирать очки.

досасываю чупа-чупс с сюрпризом, как солдат первой мировой с проклятиями обнаруживает деревянную чурку под, якобы, цельным куском мыла, купленным у подростка-спекулянта.

почти не смотрю телевизор, как не ест колбасу работник мясокомбината, собственными глазами видевший ее ингредиенты. вспоминаю сон, опуская детали, как пассажир первого класса читает в самолете газету по заголовкам.

чувствую излишнюю значимость, как севшая в такси делает непроницаемое лицо, когда водитель косится в ее сторону, на самом деле смотря в правое зеркало заднего обзора.

трогаю сухие морщины под глазами любы, вспоминая, как мятая пожелтевшая страница выступает из-под матраса, положенного у нее дома на стопки журнала новый мир.

СОДЕРЖАНИЕ

об авторе	5
Из-под события (Данила Давыдов)	7
Тело письма	9
«зачем солдат с себя сгоняет вошь»	1
про гуся1	2
«как таракан, решив выйти из отеческих нор»	
«новый год по старому стилю»	5
москва 1907—2007	
к весне 1	7
старый летчик. 9 мая 2008. москва	8
девятое мая. фотография из окна трамвая	9
фотография пустой красной площади, сделанная в людный	
день на длинной выдержке	0
полонез огинского «прощание с родиной»	1
«май, исходя, перрона плоскость греет»	2
«по реке возили москве паром»	3
владивосток-москва	4
в гости	5
вместо детектива	6
«смысл времени не ясен»	7
«циклон был зол, родившись в шапке мира»	8
«от шасси отвалился»	9
«свет идет равнодушно»	0
«в холле гостиницы»	1
«от наглости или тупого счастья»	2
грибонал	3
israel	4
«царь соломон»	6
«воздух дрожал на всем»	8
«норы в горе, как дробь»	9
«на себя одеялом»	0
«пока под ногами щебень стонал»	1
Venuer_Hodia — Invinorhav	2

	дубровник-2	43	
	прага	44	
	еще одни римские каникулы	46	
	«за рядами значков славянской квадратной породы»	48	
	«что еще можно сказать, пока едешь на север»	50	
	улан удэ	51	
	четыре цветка для игоря	52	
	«покатый нос, обветренные губы»	53	
	«нет голосов вблизи»	54	
	норвежская песня	55	
	ночное	60	
	рыбалка	61	
	«квартира смотрится в закат»	62	
	«человек безжалостен к тем»	63	
	даниле давыдову	64	
	«мимо денег вас протекает река»	65	
	«только научился говорить, тебя уже никто не слушает»	66	
31	има	67	
П	орялок лействий	87	

Константин Рубахин

САМОВЫВОЗ

Книга стихотворений

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта Вадим Месяц Главный редактор серии Андрей Тавров Верстка Антон Колотилов

> «Русский Гулливер» тел. +7 495 159-00-59 www.gulliverus.ru russian gulliver@mail.ru

Подписано к печати 28.04.2009. Формат 140 \times 200. Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC. Печать офсетная. Тираж 300 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Cherry Pie» 112114, г, Москва, 2-й Кожевниковский пер.,12